

ТРАКТАТ

Конец века? Начало века.



*О вневременном,
что превращает
любой конец в начало*

*«Век и конец века не означает конца и начала столетия, но означает конец
одного мировоззрения и начало другого».*

по следам позднего Льва Толстого — проводника в новый век

ПРОЛОГ.

Час, когда гаснет лампа

Есть час, который знает каждый, кто хоть раз не спал до рассвета. Лампа ещё горит, но горит уже иначе — не ровным светом, а с тем еле слышным потрескиванием, какое бывает у огня, чувствующего, что масла на доньшке. Комната та же. Стены те же. И всё-таки воздух переменился: в нём появилось ожидание. Не страх ещё, но предчувствие страха; не утро, но уже отсутствие ночи.

В такой час человек вдруг спрашивает себя то, чего не спрашивал годами. Он спрашивает: а что, если всё, чем я жил, было только привычкой темноты? Что, если стены, которые я считал опорой, держались не на камне, а на том, что я ни разу не пробовал их толкнуть? И что, если за стеной, которую я не толкал, всё это время был не обрыв, как меня уверяли, а дорога?

Эпохи переживают такой час так же, как люди. Наступает время, когда целый уклад жизни — со своими законами, со своей верой в собственную вечность, со своими словами, повторяемыми так уверенно, что их перестают проверять, — вдруг начинает потрескивать, как лампа на исходе масла. Снаружи ещё всё стоит. Учреждения работают. Голоса звучат твёрдо. Договоры подписаны, присяги принесены, порядок назван единственно возможным. Но кто-то уже не спит и слышит это потрескивание. И от того, как он истолкует услышанное, зависит больше, чем кажется ему самому в эту минуту.

Тогда и рождается вопрос, вынесенный в заглавие. Конец века? Знак вопроса здесь не случаен и не риторическая поза. Это честное признание: мы не знаем наверное. Мы стоим в том самом часе, когда нельзя ещё доказать, что ночь кончается, — можно только чувствовать, что она уже не та. И всякий, кто скажет вам, будто знает наверное, что будет завтра, либо обманывается сам, либо хочет обмануть вас, — ибо завтрашнее не дано знанию, оно дано только выбору.

И всё же вслед за вопросом я ставлю точку. Начало века. Не потому, что у меня есть доказательство, а потому, что есть выбор — увидеть в гаснущей лампе не смерть света, а приближение того часа, когда свет больше не будет нуждаться в лампе. Это не предсказание. Это направление взгляда. И вся разница между человеком, раздавленным концом, и человеком, стоящим у

начала, заключена в одном: куда он решился смотреть.

Стоит сразу условиться о словах, потому что от слова «век» зависит здесь всё. Я не говорю о столетии — о той цифре, что переворачивается на циферблате истории и которую так любят оплакивать или праздновать. Тот, чей голос будет вести нас по этим страницам и кого я ниже назову по имени, оговорил это с точностью, какую стоит запомнить: конец века не означает конца и начала столетия, но означает конец одного мировоззрения, одной веры, одного способа общения людей — и начало другого мировоззрения, другой веры, другого способа быть вместе.¹ Вот о каком конце и о каком начале здесь речь. Не о датах. О том невидимом перевале, через который переходит человеческий взгляд на вещи.

Об этом — и только об этом — весь дальнейший разговор. Не о каком-то определённом веке, не о событиях, имена которых стираются быстрее, чем высыхают чернила. О том вневременном, что делает любой конец возможным началом. О немногих простых вещах, которые человек способен понять и через тысячу, и через десять тысяч лет, в каком бы мире он ни проснулся, — вещах, которые я не стану объявлять заранее, потому что объявленные, они звучат как поучение, а пережитые — как освобождение. Пусть же они открываются по дороге, как открывается местность идущему, а не как зачитывают опись перед дверью.

I.

Слово, которым держится старое

Начнём с того, что держит старый мир крепче любых стен, — с одной короткой фразы, которую этот мир произносит чаще всех прочих. Фраза эта звучит так: «другого пути нет».

Прислушайтесь, как часто она повторяется. Её говорят, когда отнимают. Её говорят, когда принуждают. Её говорят, когда причиняют боль и хотят, чтобы боль казалась неизбежной. «Мы вынуждены». «У нас не было выбора». «Так устроен мир, и не нам его менять». В этих словах — всё самооправдание силы, вся её древняя, отполированная веками риторика. И что удивительнее всего: эту фразу повторяют не только те, кто принуждает, но и те, кого принуждают. Тот, кому наступили на горло, первым же поднимается объяснять прохожим, что иначе и быть не могло.

Вот тут и кроется то, что нужно понять с самого начала, потому что на этом понимании будет держаться всё остальное. Это неправда. Не злая правда, не горькая правда, не суровая правда жизни, — а просто неправда. Ложь.

Насилие лжёт не тогда, когда бьёт. Когда оно бьёт, оно как раз честно — оно есть то, что оно есть. Насилие лжёт раньше, в тот момент, когда объявляет себя единственно возможным. Ибо всякое принуждение, чтобы быть принятым, должно сначала убедить — и того, кто принуждает, и того, кого принуждают, — что иначе было нельзя. Что выбора не было. Что рука, нанёсшая удар, была лишь орудием необходимости. Власть, заметил тот же голос, держится не на одной грубой силе: она держится на устрашении, на подкупе, на усыплении ума и лишь в последнюю очередь на самом ударе.² Из этих четырёх опор три суть разновидности обмана, и только одна — собственно сила. Уже по этому счёту видно, на чём в действительности стоит старое: на девяти долях лжи и одной доле железа.

А выбор был. Выбор есть всегда.

И тут стоит остановиться, потому что простота этой мысли обманчива — в ней скрыто целое перемещение почвы под ногами старого порядка. Если выбор есть всегда, то рушится самое основание, на котором стоит власть силы. Власть силы держится не на самой силе — силы всегда меньше, чем людей, которых она держит; горстка не может физически удержать множество, и никогда не могла. Она держится на убеждении подвластных, что подчиниться было необходимо. Уберите это убеждение — и сила повисает в пустоте, как занесённая рука, которой некого ударить. Не зря один наблюдательный ум назвал само существование принуждающей власти явным признаком того, что люди потеряли сознание своего внутреннего достоинства: там, где оно живо, надсмотрщик не нужен; там, где его приходится ставить, оно уже утрачено.³

Заметьте, до чего древняя это правда — древнее любого века, в котором её повторяли. За двадцать с лишним столетий до нас босой человек, ходивший по улицам южного города и не написавший ни строки, на пороге смерти отказался спастись бегством. Ему предлагали жизнь — стоило лишь признать, что обстоятельства сильнее совести. Он не признал. Не из упрямства и не из любви к смерти, а потому, что всю жизнь учил: у человека есть нечто, чего никакие обстоятельства не отнимают, — выбор согласиться с истиной или предать её. «Повинуюсь Богу, а не вам», — сказал он своим

судьям,⁴ и в этих словах впервые на западе прозвучало то, что мы сейчас распутываем: большинство, угроза, закон, сила — всё это снаружи; согласие — внутри, и его нельзя взять штурмом.

Через пять столетий после него другой человек, родившийся рабом и знавший цену неволе не понаслышке, разделил всё существующее надвое с хирургической ясностью. Есть вещи в нашей власти и вещи не в нашей власти, сказал он: в нашей власти — суждение, побуждение, желание; не в нашей власти — тело, имущество, слава, сама жизнь. И если ты твёрдо усвоишь эту границу, прибавил он, никто никогда не сможет тебя принудить или остановить.⁵ Заметьте слово: принудить. Тело можно сковать, имущество отнять, жизнь оборвать — но согласие нельзя вырвать, его можно только дать. И значит, последняя крепость свободы стоит там, куда не дотягивается ни один меч, — внутри. Другой не обидит тебя, прибавлял тот же освобождённый раб, если ты сам того не захочешь.⁶

Вот почему ложь о безвыходности — самая нужная ложь старого мира: без неё он бессилён. Ему мало занести руку — ему необходимо, чтобы вы поверили, будто эту руку движет железная необходимость, а не чей-то выбор. Сорвите с принуждения этот покров неизбежности — и обнажится простая вещь: за каждым «мы вынуждены» стоит кто-то, кто выбрал, и кто-то другой, кто согласился поверить, что выбора не было.

Здесь возникает возражение, и его нужно встретить честно, не пряча, потому что трусливый трактат, обходящий трудные места, не стоит чернил. «Но ведь выбор бывает страшен, — скажут мне. — Выбрать неподчинение порой значит выбрать гибель. Какой же это выбор?» Возражение справедливо, и я не стану утешать тем, что выбор всегда лёгок. Он не лёгок. Бывает, что одна из дорог ведёт к страданию, а порой и к смерти. Но в том и всё дело: страшный выбор есть всё-таки выбор. Между «я не мог иначе» и «я выбрал это, потому что иначе предал бы себя» — пропасть. И в этой пропасти живёт всё человеческое достоинство.

Раб, который говорит «у меня не было выбора», уже не вполне раб обстоятельств — он сделался рабом этой фразы. Человек же, который говорит «я выбрал, пусть и под страхом», даже в цепях остаётся свободным, потому что он отнял у силы её единственное настоящее оружие — ложь о неизбежности. И есть, как сказано было однажды, одно-единственное дело, в котором человек свободен и всемогущ при любых обстоятельствах: познавать

истину и исповедовать её.⁷ Всё остальное у него можно отнять. Это — нельзя.

И заметьте: мысль эта не принадлежит никакому веку. Её нельзя устареть. Через тысячу лет, в мире, устройства которого мы и вообразить не можем, человек так же столкнётся с чьим-то «другого пути нет» — и так же сможет тихо ответить себе: путь есть, я просто боюсь по нему пойти. И в самой этой честности уже будет начало освобождения. Старое держится словом о безвыходности. Значит, конец старого начинается не с восстания рук, а с прозрения ума, увидевшего, что выход был всё это время.

II.

Клятва и взгляд

Но если оседает ложь, на которой стоял старый порядок, встаёт немедленно следующий вопрос — и он опаснее первого, потому что на нём спотыкаются как раз честные. Хорошо, допустим, людей больше не держит страх и не обманывает мнимая необходимость. Что же тогда удержит их вместе? Чем соединяются люди, если не силой? Ведь без чего-то соединяющего они рассыплются, как горсть песка, и не будет ни старого мира, ни нового — будет пыль.

Старый мир знает на это твёрдый ответ. Он соединяет людей клятвой. Обещанием. Присягой. Подписью под договором, словом, скреплённым угрозой наказания за его нарушение. Вся постройка старого порядка держится на сети взаимных обязательств, за каждым из которых стоит, в конечном счёте, всё та же занесённая рука: нарушишь — заплатишься. И постройка эта кажется такой прочной, что вообразить иное соединение людей представляется чем-то вроде мечтаний о доме без стен.

Остановимся здесь надолго, потому что это, быть может, самое тонкое из всего, о чём идёт речь, и самое легко теряемое.

Что такое клятва? Клятва есть попытка связать будущее. Я не знаю, каким я стану завтра, каким станет мир, что я почувствую и пойму, — и потому я даю слово сегодня, чтобы завтрашний я был связан вчерашним. В клятве есть скрытое недоверие к самому себе и к жизни: я не верю, что захочу поступить хорошо, и потому заранее наказываю себя за то, что, может быть, передумаю. Клятва — это мост, переброшенный над пропастью сомнения. Но мост этот всегда дрожит, потому что под ним — пустота принуждения, а не твёрдая

земля согласия. Не случайно пронизательнейшие из учителей человечества прямо запрещали клясться вовсе: не клянись ни небом, ни землёю, ни головою своею, говорит Нагорная проповедь, — да будет слово твоё: да, да; нет, нет.⁸ В этом запрете не каприз благочестия, а тонкое знание: тот, кто истинно правдив, не нуждается в клятве, а тот, кто нуждается, уже признал, что без угрозы ему не верят.

А что такое общий взгляд на вещи? Это совсем иное. Это когда двое — или двое миллионов — смотрят на одно и то же и видят одно и то же. Их не нужно связывать: они уже связаны, и связаны тем, что не требует охраны, потому что не может быть нарушено приказом. Нельзя приказать перестать видеть то, что видишь. Нельзя угрозой заставить разучиться понимать то, что понял. Тот же голос, что ведёт нас, сказал об этом коротко и навсегда: животных можно соединить насильем, но люди могут соединяться только одним общим для всех пониманием жизни.⁹ Вот черта, отделяющая стадо от собрания свободных. Стадо гонят. Людей соединяет понимание.

И мысль эта, как и первая, не нова — она лишь забывается в годы силы и вспоминается в годы прозрения. Тот босой человек из южного города, отказавшийся бежать, говорил судьям, что подчинялся законам Города не по присяге: за семьдесят лет он мог уйти и не ушёл — значит, согласие было свободным, а не вырванным.¹⁰ Не клятва держала его в Городе, а разделённый взгляд на то, что справедливо. Пять веков спустя человек, носивший на себе всю тяжесть власти над половиной известного мира и оттого знавший её цену лучше всех, записал для себя ночами в военном лагере: разум у нас общий, и закон, повелевающий, что делать, тоже общий; если так — мы сограждане, мы члены единого сообщества.¹¹ Не легионы делают людей согражданами — легионы лишь стоняют их в границы. Согражданами делает общий разум, общий взгляд на то, что есть закон. Мы созданы для сотрудничества, прибавлял этот невольный император, как созданы для него руки, ноги, веки, верхний и нижний ряд зубов.¹²

Та же истина прозвучала и на другом конце земли, на языке, не знавшем ни Афин, ни Рима. Там учили, что высшее совершенство подобно воде: вода приносит пользу всему живому, не борясь ни с чем, и занимает то низкое место, которого все избегают, — и потому путь её близок к самому Пути вещей.¹³ Там говорили, что мудрец не выставляет себя и потому сияет, не утверждает себя и потому выдвигается, и именно потому, что он не борется, никто в мире не может с ним бороться.¹⁴ Что это, как не та же мысль,

повёрнутая другой гранью: соединяет и побеждает не напор, а согласие с природой вещей; единство, добытое силой, есть лишь временная плотина, а единство понимания течёт, как вода, и потому его не остановить.

Вот почему единство, рождённое из общего взгляда, нерушимо там, где единство клятвы рассыпается. Клятву можно вынудить, и потому её можно и нарушить, — всё, что держится страхом, страхом же и распускается. Союз, основанный на насилии, может быть только временным. Но взгляд нельзя вынудить. Его можно только разделить. И разделённый, он крепче любой присяги, потому что человек хранит его не из боязни кары, а потому, что иначе перестал бы быть собою. Единственное средство соединения людей воедино, сказано было, есть соединение в истине; и чем искреннее люди стремятся к истине, тем ближе они друг к другу — не стовариваясь, не клянясь, просто идя к одному и тому же свету с разных сторон.¹⁵

Был ещё человек, проживший жизнь у лесного озера и написавший о том, что вышел из общего строя, — он показал ту же истину с изнанки. Закон сам по себе, говорил он, не сделал людей ни на йоту справедливее; напротив, из почтения к закону даже добрые люди ежедневно делаются орудиями несправедливости.¹⁶ Единственная обязанность, которую он соглашался признать за собою, — в любое время делать то, что считает правильным, а не то, что велено.¹⁷ Заметьте: это не призыв к беспорядку, это указание на источник истинного порядка. Порядок, держащийся внешним почтением к предписанию, рассыпается, едва ослабнет надзор; порядок, держащийся общим внутренним зрением на то, что справедливо, не нуждается в надзоре вовсе.

Соедините теперь то, что мы поняли в первой части, с тем, что поняли здесь, и вы увидите, как одно срастается с другим. Там было: сила лжёт, утверждая, что выхода нет. Здесь прибавляется: а соединить людей по-настоящему сила и не может — она может лишь согнать их, как сгоняют стадо, но не соединить. Соединяет только разделённое видение. И значит, всё, что силою согнано и клятвой связано, есть мнимое единство, единство-призрак, которое держится ровно до того часа, когда люди начинают видеть. А когда они начинают видеть — мы возвращаемся к нашей лампе из пролога. Это и есть тот час, когда старый свет потрескивает на исходе масла.

Правило, которое всё хранит

Но здесь, на этом самом месте, подстерегает опаснейшая из всех ловушек. И тот, кто не разглядит её, погубит всё, к чему шёл, — погубит тем вернее, чем чище были его намерения. Это нужно сказать прямо, потому что именно об эту ловушку разбивались не худшие, а лучшие; не корыстные, а пламенные; не те, кто хотел власти, а те, кто хотел добра и не мог дождаться.

Ловушка такова. Человек прозрел. Он увидел, что сила лжёт и что единство, добытое принуждением, ложно. В нём вскипает желание немедленно, сейчас же, исправить мир. И вот он тянется к тому самому орудию, которое только что разоблачил, — к силе, к принуждению, к лжи о необходимости, — но теперь, как ему кажется, во имя добра. «Да, насилие есть зло, — говорит он себе, — но как же иначе сбросить старое зло, если не силой? Один последний удар — и наступит царство справедливости». И он наносит этот удар, искренне веря, что он — последний.

На этом срывались все, кто хотел ввести добро в мир за шиворот. Колесо делает полный оборот: те, кто восстал против лжи о необходимости, сами начинают говорить «другого пути нет»; угнетённый, сев на место угнетателя, заговаривает его языком; стадо перегоняют на другое пастбище, уверяя, что это и есть свобода. Сила меняет имя, но не природу. И конец века оказывается не началом нового, а лишь переодеванием старого в новые одежды.

Против этого срыва существует правило — правило, которое следует помнить всегда, как помнят дорогу домой в темноте. Оно было записано без подписи, как пишут не мнение, а закон, — и я приведу его в той самой чеканной форме, в какой оно дошло, ибо точнее не скажешь: есть несомненное правило, которое мы должны всегда помнить, — это то, что если доброе дело не может быть совершено без отступления от добра, то или это дело не доброе, или время этого дела ещё не наступило.¹⁸

Вглядитесь, какая в этом точность. Не сказано: делай добро любой ценой. Не сказано и обратное: не делай ничего, сиди сложа руки. Сказано иное, более тонкое и более трудное. Если для того, чтобы совершить доброе, тебе приходится отступить от добра — солгать, принудить, ударить, — то остановись и спроси себя честно: либо ты ошибся, и дело твоё на самом деле не доброе, как бы красиво оно ни звалось; либо дело доброе, но час его ещё не

пробил, и торопить этот час дурными средствами — значит убить дело в самом зародыше. Третьего не дано. Доброе дело, для которого понадобилось зло, выдаёт себя именно этой надобностью.

Древние философы знали этот закон задолго до того, как его записали так коротко. Один из них, споривший на афинской площади о справедливости, дошёл до тезиса, который и сегодня обжигает: лучше претерпеть несправедливость, чем совершить её; и тот, кто творит зло, несчастнее того, кто зло терпит, — а несчастнее всех тот, кто творит зло и остаётся безнаказанным, ибо такой разрушает в себе самое способность быть человеком.¹⁹ Вдумайтесь: не жертва теряет больше всех, а тот, кто занёс руку. Насилие прежде всего калечит насильника — таков был приговор, вынесенный за четыре с лишним века до нашей эры и ни разу с тех пор не отменённый.

Тысячелетия спустя другой ум, в холодном северном городе, придал этому закону форму чистой мысли, без всякой ссылки на небо. Поступай только согласно такой воле, сказал он, относительно которой ты мог бы желать, чтобы она стала всеобщим законом.²⁰ Приложите это к насилию во имя добра. Могу ли я желать, чтобы правило «применяй зло, когда оно служит твоему добру» стало законом для всех без изъятия? Нет — ибо тогда всякий, у кого есть своё «добро», получит право на зло, и мир захлебнётся в благонамеренном насилии. Принцип опровергает себя сам, едва его пытаются сделать всеобщим. И тот же ум прибавил формулу, которую стоило бы вырезать над входом во всякое человеческое учреждение: относись к человеку — и в себе, и во всяком другом — всегда как к цели и никогда только как к средству.²¹ Вот граница, которую не имеет права перейти ни одна, самая высокая цель. Победа, порядок, безопасность, светлое будущее — всё, ради чего человека делают лишь топливом, лишь средством, — всё это уже преступило черту и потому обречено принести не то, что обещало.

Почему же люди срываются в эту ловушку так упорно, из века в век? Потому что отступление от добра во имя добра обещает быстроту. А быстрота — самый сладкий из всех соблазнов для того, кто прозрел и горит. Ему невыносимо ждать. Он видит свет и не понимает, отчего нельзя зажечь его сразу во всех. И в этом нетерпении он хватается за факел силы — и сжигает им как раз то, что хотел осветить. Устраивать внешние формы общей жизни без внутренней перемены в людях, заметил тот же ведущий нас голос, — всё равно что перекладывать без раствора, насухо, камни

разваливающегося здания: сколько ни перекладывай, оно будет валиться, потому что не тронут то, отчего оно валится.²²

Правило времени учит терпению особого рода — не терпению покорности, а терпению верности. Оно говорит: не всё, что ты считаешь добром, есть добро; проверь это тем, какими средствами оно требует себя осуществить. Средство — это и есть проба цели. Дело, которое можно сделать только дурно, выдаёт себя этой невозможностью сделать его хорошо. И если время для доброго дела ещё не пришло — значит, твоя работа сейчас не в том, чтобы его силой приблизить, а в том, чтобы его приготовить: в себе, в других, в общем взгляде на вещи. Желанию блага другим людям, сказано, удовлетворяет не суета внешнего устройства их жизни, а та внутренняя работа над собою, в которой одной человек вполне свободен и властен.²³

Здесь всё, о чём мы говорили, впервые смыкается в единый узел, и стоит задержаться, чтобы увидеть его целиком. Одно освобождает: выход есть всегда, сила лжёт. Другое указывает, куда идти: к единству не клятвы, а взгляда. Третье — оберегает дорогу: не смей приближать это единство средствами той самой силы, от которой бежишь, иначе придёшь не туда, куда шёл. Без первого человек остаётся рабом. Без второго — одиноким бунтарём, не знающим, ради чего разрушил. Без третьего — новым насильником, худшим прежнего, ибо лгушим во имя истины. Только всё вместе образует тот узкий мост, по которому и вправду можно перейти из конца века в его начало.

IV.

Глубина веков

Я несколько раз называл голос, ведущий нас, — пора назвать его по имени и тут же объяснить, почему это имя здесь и точно, и неточно одновременно. Я зову его Толстым. Но прошу понять с самого начала: речь не о человеке с его слабостями, домом и могилой, не о личной судьбе того, кто носил это имя. Речь о голосе, к которому имя лишь привязалось, — о проводнике, через которого древнее снова заговорило на языке нового времени.

Неточно это имя — потому что ни одна из мыслей, по которым мы шли, ему не принадлежит. Он не изобрёл их, как не изобретают восход солнца. Он лишь повернулся к ним лицом с такой полнотой, на какую был способен, собрал их вместе и произнёс на языке своего века так внятно, что мы

услышали. Он и сам не скрывал, откуда черпал: он прямо называл тех, кого считал для себя обязательным чтением, — Эпиктета и Марка Аврелия, Лао-цзы и Будду, Паскаля и Евангелие,²⁴ — и составил из их мыслей и своих особый годовой круг, чтобы человек, читая по одной странице в день, держал перед собою не мнение эпохи, а то постоянное, к чему эпохи возвращаются. Юношей он носил на шее, вместо нательного креста, медальон с портретом женева, учившего, что человек рождается свободным, а повсюду он в оковах,²⁵ — и что оковы эти навязаны не природой, а искажёнными установлениями, природа же человека добра. Лето, проведённое за книгами кёнигсбергского отшельника и франкфуртского философа воли, он называл непрерывным восторгом и говорил, что ни один студент за весь курс не узнал столько, сколько он за те месяцы.²⁶ И он же, прочтя эссе американца с лесного озера о неповиновении несправедливому закону, признал в нём одно из сочинений, повлиявших на весь его строй мысли.²⁷ Он был не родником, а руслом, в которое сошлись многие воды.

Вот почему точнее было бы сказать: мысли эти старше любого века, в котором их повторяли, и Толстой ценен здесь не как автор, а как проводник в новый век — как человек, который в свой темнеющий час снова поднёс к этим древним углям дыхание и заставил их разгореться.

Вглядимся же в эту глубину, потому что в ней — и утешение, и проверка.

Был босой собеседник на южных площадях, не написавший ни строки, всё дело которого состояло в том, чтобы заставить встречного заметить: то, что ты считал несомненным, ты ни разу не проверял. Он сравнивал себя со слепнем, приставленным богом к ленивому благородному коню, чтобы конь не дремал; он жалил, будил, не давал успокоиться — и за это его убили.²⁸ Но убить его оказалось нельзя: он первым показал, что у человека всегда есть выбор — согласиться с толпой или последовать за тем, что он сам признал истиной, хотя бы ценою жизни, и что соединять людей должно не принуждение, а пробуждённое, общее знание. Жизнь без такого вопрошания, говорил он, не стоит того, чтобы её жить.²⁹

Были люди, называвшие себя стоиками, — и среди них бывший раб и носивший пурпур повелитель, что само по себе притча: одну и ту же истину в один и тот же век держали в руках и тот, у кого не было ничего, и тот, у кого было всё. Оба учили об одном: есть лишь одно, чего никакая власть не отнимет у человека без его согласия, — его внутреннее «да» и «нет»; и потому

свобода живёт там, куда не дотягивается сила. Нигде, записывал увенчанный из них, человек не найдёт более тихого убежища, чем в собственной душе.³⁰ А лучшая месть обидчику, прибавлял он, — не уподобляться ему.³¹ И ещё — слова, которые стоит запомнить всякому, кто встретит на своём пути стену: препятствие действию само продвигает действие; то, что стало на пути, делается путём.³² Вот корень того, что много позже назовут силой ненасилия: сопротивление злу без насилия — не бездействие, оно обращает само препятствие в дорогу.

Был на другом краю земли учитель воды и уступающей силы, чьё имя мы уже слышали, — и за ним целая страна, мыслившая иначе, чем Запад, но пришедшая к тому же: мягчайшее в мире одолевает твердейшее; нет ничего слабее воды, и нет ничего, что превзошло бы её в борьбе с твёрдым и крепким; каждый это знает, и почти никто не решается применить.³³ Тот, кто свёл вместе наши нити, прямо говорил, что сущность учения этого далёкого мудреца — та же, что и сущность учения, выросшего из Нагорной проповеди;³⁴ и в этом совпадении, протянувшемся через тысячи вёрст и веков, через незнакомые друг с другом народы, — самое сильное доказательство, какое вообще возможно. Ибо если люди, никогда не слышавшие друг о друге, на разных языках говорят одно — значит, это «одно» не выдуманно ни одним из них. Оно лежит глубже их всех.

И была, наконец, та проповедь на горе, к истолкованию которой свёлся весь поздний труд нашего проводника. «Не противься злomu», «любите врагов ваших», «будьте совершенны» — он прочёл эти слова не как недостижимый идеал и не как иносказание, а как точное правило поведения: запрет отвечать насилием на насилие, отказ от мести даже оборонительной.³⁵ И самое название главного своего труда он взял оттуда же — из слов о том, что Царство Божие внутри вас есть.³⁶ не во внешнем учреждении, не в храме, не в государстве, а внутри, в том самом месте, куда не дотягивается ничья сила и где единственно и возможно настоящее соединение людей.

Я называю эти голоса не для того, чтобы украсить трактат древностью, как украшают стену старинной утварью. Я называю их, чтобы стало видно главное: те немногие истины, на которых мы строим переход в новый век, не являются ни новостью, ни чьей-либо собственностью. Они — то постоянное, к чему человечество возвращается всякий раз, как очередной век доходит до своего часа гаснущей лампы. Их забывают в годы силы и вспоминают в годы прозрения.

В этом и утешение, и проверка. Утешение — потому что мысль, которая возвращалась к человеку три тысячи лет, вернётся к нему и впредь, в каком бы мире он ни проснулся: она вшита в самое устройство существа, способного выбирать. Проверка — потому что всё подлинно вневременное именно так себя и обнаруживает: оно не зависит от века. Босой собеседник на площади, бывший раб и увенчанный император, учитель воды на другом краю земли, и человек позднего нового времени, собравший их голоса в один, — все говорят, по сути, одно. Значит, это одно не есть мнение эпохи. Это нечто более прочное, чем эпоха. Это то, на что эпоха опирается, сама того не зная, и что обнажается всякий раз, когда эпоха кончается.

v.

Перелом

Теперь мы подошли к тому, ради чего всё говорилось. К часу перелома. К той точке, где конец оборачивается началом, — и я хочу показать, что точка эта лежит совсем не там, где её привыкли искать.

Её ищут снаружи. Ждут события — падения, перелома, громкого часа, после которого мир станет иным. Высматривают на горизонте знак, что старое кончилось и новое началось. И не находят — потому что смотрят не туда. Перелом совершается внутри. В одном человеке. Раньше, чем в мире, — и так тихо, что мир не замечает.

Вообразите этот час не в истории, а в одной душе. Человек, всю жизнь говоривший себе «другого пути нет», вдруг — может быть, от усталости, может быть, от чьего-то слова, может быть, без всякой видимой причины — впервые додумывает фразу до конца и слышит её ложь. Один-единственный раз он говорит себе: путь есть. Я просто его боялся.

В это мгновение в нём кончается целый век. Не век календаря — век его внутреннего рабства. Снаружи не переменилось ничего: те же стены, те же голоса, та же сила за окном. Но человек уже другой, потому что отнял у силы её ложь и тем обессилил её внутри себя. Он перестал быть согнанным. Он стал — пусть пока в одиночку — соединённым: с теми, кто видит так же, через века и расстояния, тем общим взглядом, которого никакая клятва не даёт и никакой меч не отнимает. Он стоит один в своей комнате — и одновременно рядом с босым собеседником на площади, с бывшим рабом, написавшим о свободе, с учителем воды, — со всеми, кто когда-либо додумал ту же фразу до

конца. Это и есть соединение в истине: оно не требует, чтобы соединившиеся были знакомы или живы в один век.

Вот где настоящий перелом. И именно поэтому я с самого начала отказался от слова, которым привыкли называть подобные часы, — от слова, обозначающего внешний переворот, перемену рук на рычаге силы. То, о чём идёт речь, не переворот. У этого иное имя, и имя ему — просветление. Не вспышка, не озарение свыше, а тихое прояснение взгляда, после которого уже нельзя снова не видеть. Увеличение свободы, сказано было кратко, и есть просветление сознания.³⁷ И вслед за этим прояснением приходит ещё одно, не менее важное: осознание самого этого просветления. Человек не только начинает видеть — он понимает, что видит, и что прежде был слеп, и что назад дороги нет. Прозреть можно нечаянно; но осознать своё прозрение — значит уже не суметь забыть его обратно.

Это различие — не игра слов, в нём вся суть перехода. Внешний переворот меняет лишь то, кто держит силу, оставляя нетронутой самую ложь о её необходимости, — и потому колесо делает оборот, и вчерашний угнетённый, сев на место угнетателя, заговаривает его языком. Тот же ведущий нас голос обмолвился об этом с горькой точностью: благотворен лишь такой перелом, который разрушает старое только тем, что уже установил новое;³⁸ всякий же иной, спешащий разрушить прежде, чем выстроено, оставляет на месте старого здания не новое, а груды. Просветление не отнимает силу у одних, чтобы отдать другим. Оно изымает из мира самую почву силы — веру в то, что иначе нельзя. А на месте, где больше не верят в необходимость принуждения, принуждению не за что зацепиться. Оно опадает само, как опадает труха с дерева, которое внутри уже умерло, хотя кора ещё цела.

И вот почему этот перелом неизбежен, хотя и не предсказуем по часам. Неизбежен — потому что способность выбирать неустранима из человека; пока есть существо, способное сказать «я мог бы иначе», ложь о безвыходности обречена быть однажды раскрытой. О неизбежности этой лучше всего сказано было образом воды, который уже звучал у нас и здесь возвращается во всей силе: величайшая плотина в мире не может задержать источника живой воды; вода найдёт путь — через плотину, или размыв её, или обойдя; дело только во времени.³⁹ Вот точная мера происходящего. Старое — плотина; пробудившийся взгляд людей — вода. Плотину можно надстраивать, караулить, латать, но нельзя отменить того, что вода ищет выхода и рано или поздно его находит. Непредсказуем же перелом потому,

что никто не знает, в какой душе и в какой час впервые додумается до конца та простая фраза, какая капля окажется последней. Перелом не объявляют. Его замечают задним числом, когда прозревших становится довольно, чтобы общий их взгляд сделался той силой, которой не нужна сила.

И здесь в последний раз нам служит правило, хранящее дорогу. Ибо нетерпеливый, дойдя до этого места, спросит: если так, отчего не ускорить? Отчего не заставить прозреть, не принудить к свету? Но прозрение по принуждению есть противоречие в самих словах — нельзя силою заставить увидеть, можно лишь силою заставить притвориться, будто видишь, а это и есть старая ложь под новым именем. Вспомните: и древняя мудрость, и Нагорная проповедь сходятся в том, что веру нельзя насадить силою, что водворять её угрозами — значит обнаруживать, что сам в неё не веришь.⁴⁰ Свет нельзя ввести силою. Его можно только зажечь — в себе — и не гасить. Остальное совершится в свой час, и торопить его дурными средствами значило бы доказать лишь одно: что время ещё не пришло.

VI.

Начало века

И вот занимается то, что я с самого начала, несмотря на знак вопроса, решился назвать началом.

Оно начинается незаметно. Не с провозглашения, не с торжества, не с того громкого часа, которого все ждали и проглядели. Оно начинается с того, что прозревших становится не один, а двое; потом — не двое, а многие; и в какой-то день — хотя никто не укажет, в какой именно, — их общий взгляд на вещи делается тем воздухом, которым дышат и те, кто сам ещё ничего не понял. Так совершается переход изнутри вовне — единственный путь, которым он вообще может совершиться. Сначала в одном человеке кончается век его рабства. Потом этот человек, ничего не навязывая, просто живя по своему новому зрению, оказывается понятен другому, потому что взгляд узнаётся взглядом без слов и клятв. Двое разделивших видение уже соединены прочнее, чем тысяча связанных присягой. И это маленькое, незаметное единство растёт не как растёт войско — призывом и страхом, — а как растёт рассвет: его нельзя назначить, нельзя ускорить, нельзя и остановить.

Что переход этот не выдумка мечтателя, показала сама жизнь — и показала на наших, можно сказать, глазах. Был человек, прочитавший в чужой далёкой стране книгу нашего проводника о Царстве внутри человека, — и книга эта, по его собственному признанию, потрясла его и оставила в нём неизгладимый след.⁴¹ Он не взял в руки оружия. Он взял ту самую силу, что казалась бессилием, — силу отказа участвовать в неправде, силу истины, которую он на своём языке назвал так, что в переводе это и значит: сила истины, она же, как он сам прибавлял, сила любви.⁴² И силой этой, не пролив чужой крови, он поколебал власть, перед которой склонялись армии. Толстой написал ему, ещё не зная, что пишет будущему: как только люди станут жить по закону любви, исключаящему всякое противление насилем, — не то что сотни не смогут поработить миллионы, но и миллионы не смогут поработить одного человека.⁴³ Это было сказано как предвидение — и сбылось как событие. Один человек, переменивший прежде всего себя, оказался не по силам империи. Не потому, что был сильнее её железом. Потому, что отнял у неё ложь, на которой она стояла, и соединил вокруг общего взгляда тех, кого она думала держать страхом.

Замечу то, что легко упустить, ибо в этом — всё отличие нового от старого. Новое начинается не разрушением старого. Старое и не нужно разрушать — это была бы всё та же сила, всё та же ложь о необходимости удара. Старое отмирает само, по мере того как иссякает вера в его неизбежность. Никто не штурмует стен, которые держались только убеждением, что их нельзя толкнуть. В тот день, когда довольно людей перестанут в это верить, стены окажутся тем, чем были всегда, — тенью, отброшенной общим страхом. И начало века наступит не как победа одних над другими, а как тихое прекращение давнего недоразумения.

Свяжем напоследок все нити в одну, чтобы видеть начало века во всей его простоте — но связать их теперь можно уже не как отвлечённые правила, а как пережитое, потому что мы прошли с ними весь путь. Человек освобождается, поняв, что сила лжёт и выбор есть всегда. Освободившись, он соединяется с другими не клятвой, а общим взглядом на вещи. И на всём пути он хранит верность тому, что доброго нельзя достигнуть отступлением от добра, — иначе первые два прозрения вырождаются в новую силу, и колесо повернётся снова. Три простые вещи, ни одна из которых не нова, ни одна не принадлежит какому-либо веку, — и все вместе составляющие тот единственный мост, по которому человечество переходит из любого своего

конца в любое своё начало.

Вот почему заглавие, начавшись вопросом, кончается утверждением. Конец века — это вопрос, потому что конец всегда есть только возможность, и никто не вправе уверять, будто знает, наступил ли он. Начало века — это утверждение, потому что ответ дан здесь не доказательством, а выбором: тем самым выбором, который, как мы знаем с первой страницы, есть у человека всегда. Знак вопроса честен. Точка же — это не знание, а решимость. Я ставлю её не потому, что вижу будущее, а потому, что выбираю, куда смотреть.

ЭПИЛОГ.

Свет, который не гаснет

Вернёмся к лампе, с которой начали.

Она догорела. В комнате — та особенная тишина, что наступает, когда привычный звук наконец смолк. И на одно мгновение кажется, что вместе с лампой ушёл и свет, что наступила полная тьма, что конец был всё-таки только концом. В этот короткий миг — самый тёмный за всю ночь — собирается весь страх, копившийся в часы ожидания. Кажется: вот оно, доказательство, что бояться стоило; вот он, обещанный конец без начала.

Но человек, не спавший всю ночь, поднимает глаза к окну — и видит, что в комнате светло. Светло не от лампы. Пока он сидел, тревожась о гаснущем огне, незаметно, без единого звука, без часа, который можно было бы назвать началом, за окном настал рассвет. Свет, которого он так боялся лишиться, всё это время приходил с другой стороны — оттуда, где его нельзя ни зажечь, ни погасить рукой.

Вот и всё, что я хотел сказать, и теперь это можно сказать прямо, потому что мы дошли. Лампа — это всякий век, всякий порядок, всякая постройка, верящая, будто на ней одной держится свет. Лампы гаснут, и хорошо, что гаснут, ибо иначе человек так и принимал бы их слабый, дрожащий огонь за единственно возможный и не поднял бы глаз к окну. А свет — свет не в лампе. Он в том вневременном, что человек способен увидеть в любую свою ночь и в любом своём веке: что выбор есть всегда и сила лжёт, утверждая обратное; что соединяет людей не страх и не клятва, а общее зрение; и что к добру нельзя прийти путём зла, а кто пытается — тот лишь доказывает, что время его дела ещё не настало. Эти три вещи я нарочно не вынес в начало и не

объявил законами — я провёл вас сквозь них, как проводят сквозь тёмную комнату к окну, чтобы вы увидели их сами, не как чужое поучение, а как собственное прозрение.

Поймёт это человек через тысячу лет или через десять тысяч, в мире, которого мы не вообразим, — он поднимет глаза от своей погасшей лампы и увидит то же, что видели до него на южной площади, и в каменном лагере над свитком, и у воды на другом краю земли, и в темнеющий час позднего нового времени. Что ночь была не вечной. Что свет приходил не от лампы. И что час, который он принял за конец, был на самом деле тем единственным часом, когда становится видно начало.

Конец века. И — начало.

Отсылки и источники

Все приведённые формулировки сверены по первоисточникам. Цитаты Толстого даны либо дословно (там, где это оговорено), либо как точная передача мысли его поздних произведений; философские отсылки сверены по Wikisource, MIT Classics, Project Gutenberg, Stanford Encyclopedia of Philosophy и академическим публикациям.

1. Л. Н. Толстой, «Конец века» (1905): «Век и конец века... означает конец одного мировоззрения... и начало другого». tolstoy.ru/creativity/journalismguide/259.php
2. Л. Н. Толстой, «Царство Божие внутри вас» (1893), о четырёх средствах власти: устрашение, подкуп, гипнотизация, военная сила. ru.wikisource.org — «Царство Божие внутри вас»
3. Э. Карпентер, цит. Толстым в «Круге чтения» (ноябрь): правительство как признак утраты сознания внутреннего достоинства. ru.wikisource.org — «Круг чтения / Ноябрь»
4. Платон, «Апология»: «Повинуюсь Богу, а не вам». [en.wikisource.org/wiki/Apology_\(Jowett\)](http://en.wikisource.org/wiki/Apology_(Jowett))
5. Эпиктет, «Энхиридион», гл. 1: что в нашей власти и что нет; «никто не сможет тебя принудить». classics.mit.edu/Epictetus/epicench.html
6. Эпиктет, «Энхиридион», гл. 30: «Другой не обидит тебя, если ты сам не захочешь». classics.mit.edu/Epictetus/epicench.html
7. Л. Н. Толстой, «Царство Божие внутри вас», гл. XII: «Одно, только одно дело, в котором ты свободен и всемогущ... познавать истину и исповедовать её». ru.wikisource.org — «Царство Божие внутри вас / XII»
8. Евангелие от Матфея, 5:34–37 (Нагорная проповедь): «не клянись вовсе... да будет слово ваше: да, да; нет, нет». [en.wikisource.org/wiki/Bible_\(King_James\)/Matthew](http://en.wikisource.org/wiki/Bible_(King_James)/Matthew)
9. Л. Н. Толстой, «Не убий никого» (1907): «Животные могут быть соединены насилием, но люди могут соединяться только одним общим для всех пониманием жизни». iphras.ru — Толстой, «Не убий никого»
10. Платон, «Критон»: свободное согласие с законами Города за семьдесят лет без клятвы. [en.wikisource.org/wiki/Crito_\(Jowett\)](http://en.wikisource.org/wiki/Crito_(Jowett))
11. Марк Аврелий, «Размышления», IV.4: общий разум, общий закон, единое сообщество. classics.mit.edu/Antoninus/meditations.html
12. Марк Аврелий, «Размышления», II.1: «Мы созданы для сотрудничества, как руки, как ноги...». classics.mit.edu/Antoninus/meditations.html
13. Лао-цзы, «Дао Дэ Цзин», гл. 8: высшее совершенство подобно воде. gutenberg.org/files/216/216-h/216-h.htm
14. Лао-цзы, «Дао Дэ Цзин», гл. 22: «именно потому, что он не борется, никто не может с ним бороться». gutenberg.org/files/216/216-h/216-h.htm
15. Л. Н. Толстой, «Царство Божие внутри вас», гл. XII: «Единственное средство соединения людей воедино есть соединение в истине». ru.wikisource.org — «Царство Божие внутри вас / XII»
16. Г. Д. Торо, «Гражданское неповиновение» (1849): «Закон никогда не сделал людей ни на йоту справедливее». [en.wikisource.org/wiki/Civil_Disobedience_\(Thoreau\)](http://en.wikisource.org/wiki/Civil_Disobedience_(Thoreau))
17. Г. Д. Торо, «Гражданское неповиновение»: «единственная обязанность — в любое время делать то, что считаю правильным». [en.wikisource.org/wiki/Civil_Disobedience_\(Thoreau\)](http://en.wikisource.org/wiki/Civil_Disobedience_(Thoreau))
18. Л. Н. Толстой, «Круг чтения», 2 сентября, мысль № 3 (без подписи = слова Толстого): «Есть несомненное правило... если доброе дело не может быть совершено без отступления от

добра, то или это дело не доброе, или время этого дела ещё не наступило». ПСС, т. 42.
tolstoy.ru — PDF тома 42

19. Платон, «Горгий», 469b: «лучше претерпеть несправедливость, чем совершить»; творящий зло несчастнее терпящего. classics.mit.edu/Plato/gorgias.html
20. И. Кант, «Основоположение к метафизике нравов», G 4:421: формула всеобщего закона. plato.stanford.edu/entries/kant-moral/
21. И. Кант, «Основоположение», G 4:428–429: формула человечности — человек как цель, никогда лишь как средство. plato.stanford.edu/entries/kant-moral/
22. Л. Н. Толстой, Дневник, 1 января 1905: устройство внешних форм без внутреннего совершенствования — «всё равно, что перекидывать без извести разваливающееся здание». kulichki.com — Дневник 1905
23. Л. Н. Толстой, «Закон насилия и закон любви» (1908): благу других удовлетворяет «внутренняя работа над собой, в которой одной вполне свободен и властен человек». litres.ru — «Закон насилия и закон любви»
24. Л. Н. Толстой, дневниковая запись о круге обязательного чтения: «Эпиктет, Марк Аврелий, Лао-Цзы, Будда, Паскаль, Новый Завет». themarginalian.org/2013/03/15/a-calendar-of-wisdom-tolstoy/
25. Ж.-Ж. Руссо, «Об общественном договоре» (1762): «Человек рождается свободным, а повсюду он в оковах»; Толстой носил его портрет на шее. en.wikipedia.org/wiki/Jean-Jacques_Rousseau
26. Л. Н. Толстой, письмо А. А. Фету (1869) о Шопенгауэре: «непрерывный восторг... ни один студент не узнавал столько». en.wikipedia.org/wiki/Leo_Tolstoy
27. Г. Д. Торо, «Гражданское неповиновение»: названо Толстым в числе сочинений, повлиявших на его метод ненасилия. [en.wikipedia.org/wiki/Civil_Disobedience_\(Thoreau\)](http://en.wikipedia.org/wiki/Civil_Disobedience_(Thoreau))
28. Платон, «Апология»: образ «слепня» (gadfly), приставленного к ленивому коню государства. [en.wikisource.org/wiki/Apology_\(Jowett\)](http://en.wikisource.org/wiki/Apology_(Jowett))
29. Платон, «Апология»: «жизнь без исследования не стоит того, чтобы её жить». [en.wikisource.org/wiki/Apology_\(Jowett\)](http://en.wikisource.org/wiki/Apology_(Jowett))
30. Марк Аврелий, «Размышления», IV.3: «нигде человек не находит более тихого убежища, чем в собственной душе». classics.mit.edu/Antoninus/meditations.html
31. Марк Аврелий, «Размышления», VI.6: «лучшая месть — не уподобляться тому, кто обидел». classics.mit.edu/Antoninus/meditations.html
32. Марк Аврелий, «Размышления», V.20: «препятствие действию продвигает действие; то, что стоит на пути, становится путём». classics.mit.edu/Antoninus/meditations.html
33. Лао-цзы, «Дао Дэ Цзин», гл. 43 и 78: «мягчайшее в мире одолевает твердейшее»; о воде и твёрдом. gutenberg.org/files/216/216-h/216-h.htm
34. Л. Н. Толстой о Лао-цзы (предисловие к «Дао Дэ Цзин», 1910): «Сущность учения Лао-Цзы та же, что и сущность христианского учения». richtmann.org — исследование о Толстом и даосизме
35. Евангелие от Матфея, 5:38–48; толстовское прочтение «не противься злему» как заповеди ненасилия. en.wikipedia.org/wiki/The_Kingdom_of_God_Is_Within_You
36. Евангелие от Луки, 17:21: «Царствие Божие внутри вас есть» — источник названия главного трактата Толстого.
37. Л. Н. Толстой, Дневник, 29 июня 1905: «Увеличение свободы есть просветление сознания». kulichki.com — Дневник 1905

38. Л. Н. Толстой, Дневник, 29 июня 1905: благотворен лишь тот перелом, «который разрушает старое только тем, что уже установил новое». kulichki.com — Дневник 1905
39. Л. Н. Толстой, «Конец века» (1905): «Величайшая плотина в мире не может задержать источника живой воды... Дело только во времени». tolstoy.ru/creativity/journalismguide/259.php
40. Б. Паскаль и А. Шопенгауэр, цит. Толстым в «Круге чтения», 2 сентября: веру нельзя насадить силой и угрозами; кто поддерживает веру насилем, тот сам мало верит. tolstoy.ru/online/90/42/
41. М. К. Ганди, «История моих опытов с истиной», ч. II, гл. XV: книга Толстого «Царство Божие внутри вас» «потрясла» его и оставила «глубокое впечатление». en.wikipedia.org/wiki/The_Kingdom_of_God_Is_Within_You
42. М. К. Ганди (1914): сатьяграха в переводе — «Сила Истины», которую Толстой называл также «Силой Души» или «Силой Любви». cambridge.org — «Unravelling the Myth of Gandhian Non-violence»
43. Л. Н. Толстой, «Письмо к индусу» (1908): «не только сотни не смогут поработить миллионы, но даже миллионы не смогут поработить одного человека». en.wikisource.org/wiki/A_Letter_to_a_Hindu